

# «Я ТОЖЕ БЫЛА, ПРОХОЖИЙ...»

(Марина Цветаева  
в Елабуге)

Мустафин, Рафаэль Ахметович.  
*Силуэты. Литературные портреты  
писателей Татарстана [Электронный  
ресурс] / Р. А. Мустафин .—  
Казань : Татар. кн. изд-во, 2006 .—  
350, [1] с. : портр.*



## Время вносит корректизы

Моим стихам, как драгоценным винам,  
Настанет свой черед.

М. Цветаева

Сегодня трудно даже представить, что до конца 50-х годов Марины Цветаевой практически не было в нашей жизни. Книги ее не печатались, творчество и даже само имя упорно замалчивались. Ставших ныне хрестоматийными стихов не знали не только школьники, но и студенты филологических факультетов. Сужу по себе: в начале 50-х я учился на отделении русской филологии Казанского университета, писал рефераты о советской поэзии, и не имел ни малейшего понятия о творчестве Цветаевой. Добро бы я один...

В числе тех, кто прорвал заговор молчания или, как сейчас выражаются, информационную блокаду вокруг имени Цветаевой, был критик и литературовед В. Орлов. Он выступил с первыми статьями о творчестве Цветаевой, подготовил к печати ее первые посмертные сборники. При его непосредственном участии, с его предисловием и комментариями в середине 60-х вышло первое достаточно полное и научно выверенное издание «Избранного» Цветаевой в большой серии «Библиотеки поэта» — издание, по которому сверяются и переиздаются почти все ее новые книги, особенно в провинции.

Помню, каких трудов мне стоило раздобыть это издание, сразу же после выхода сделавшееся библиографической редкостью. С каким благоговением я вчитывался в каждую строчку, буквально смаковал каждое слово! Перечитывал предисловие, заглядывал в комментарий, старался не отвергать «с поро-

га» темные места, а уяснить их глубинный смысл, недоступный уму ленивому и нелюбопытному. Именно это издание вкупе со сборниками цветаевской прозы помогло впервые представить поэта в полный рост, во всем блеске отточенного мастерства и глубины философского постижения жизни.

Дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, с которой я познакомился примерно в то же время, не разделяла моего восторженного отношения к автору предисловия, только скептически хмыкала. Тогда я не понимал, почему. И только сейчас, четверть века спустя, перечитывая предисловие В.Орлова, кажется, понял.

Критик взялся за задачу, не имеющую решения: впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, то есть как-то «увязать» творчество Цветаевой с общим руслом поэзии социалистического реализма. Причем, справился с этой задачей блестяще (на то и талант критика!). Но именно отсюда идут его многочисленные натяжки, вынужденные умолчания, шитые белыми нитками заключения. Цветаева всю жизнь была сама по себе, «одна противу всех», и с общим руслом советской поэзии абсолютно никак не «сочетается».

Разбирая «на редкость сложное, пестрое и противоречивое» творчество Цветаевой, автор предисловия приходит к следующему выводу: «Сейчас, по прошествии полувека с той поры, как появились первые стихи Цветаевой, и двадцать лет спустя после того, как ее не стало, можно с уверенностью сказать, что в нашей поэзии это явление неслучайное и не временное».

Все так, все верно. Но слишком уж уклончиво, обтекаемо. «Не случайное и не временное» — так можно сказать о творчестве любого, мало-мальски заметного поэта. Но какое же именно? В.Орлов в то время еще не мог, видимо, назвать Цветаеву в числе крупнейших поэтических фигур XX века наравне с Пастернаком, Ахматовой, Мандельштамом. Сегодня же мы можем и должны сказать об этом прямо.

Вызывает внутренний протест и попытка противопоставить творчество Цветаевой литературе русского зарубежья, представить ее как некое исключение в «мелководье эмигрантской литературы», которое «было ей по ступню». Ныне, когда в раскрытые шлюзы хлынул целый поток запретной прежде литературы (одно явление В.Набокова чего стоит!), нет нужды доказывать, что это не так. Литература развивалась по обе стороны «железного занавеса», и еще неизвестно, с какой стороны она была более художественно полноценной, правдивой, жизненной.

Сегодня мы уже не расцениваем выезд Цветаевой за границу как «трагическую ошибку», из-за которой она осталась «в стороне от столбовой дороги истории». Ошибкой скорее было

ее возвращение вслед за мужем в 1939 году. Вот за это-то она и заплатила «самой дорогой ценой», как выражается В.Орлов по поводу ее отъезда.

Время меняет оценки, совсем иначе расставляет акценты. Так, автор предисловия пишет, что муж Цветаевой С.Я.Эфрон, «прошедший с белой армией весь ее бесславный и преступный путь», «нашел в себе достаточно чести и совести, чтобы отказаться от собственных иллюзий», то есть начать сотрудничать с Советской властью, помочь ей по мере сил и в конце концов вернуться на родину. Сейчас, после публикации секретных документов из архивов КГБ, мы знаем, что Эфрана погубили совсем другие иллюзии: наивная вера в то, что большевики выражают волю подавляющего большинства. Это рождало комплекс вины перед Советской властью, желание как-то искупить «ошибки молодости». Это-то и толкнуло бывшего белого офицера на сотрудничество с НКВД и участие в кровавых терактах против тех, кто чем-то не угодил режиму.

Расплата за эти иллюзии не заставила себя долго ждать: стоило ему вернуться на родину, как последовали арест, подвалы Лубянки и пуля в затылок.

В.Орлов расценивает Цветаеву как поэта элитарного, и полагает, что на широкое признание ее стихов надеяться не приходится. Однако стотысячные тиражи ее стихотворных книг каждый раз шли нарасхват. Даже если в этом есть элемент моды, тяги к запрещенному, простое любопытство, все равно мы должны признать, что истинная поэзия в конце концов пробивает дорогу к сердцам читателей.

О последних днях Марины Цветаевой в предисловии сказано всего одной фразой: «31 августа 1941 года в связи с тяжелыми личными переживаниями Марина Ивановна Цветаева покончила с собой». Личными... Если разочарование в собственной родине, которую она любила всеми фибрами души и которая арестовала мужа и дочь, запретила печататься, растоптала и унизила душу поэта можно считать «личными переживаниями», тогда с этим можно согласиться.

## Любовь есть действие

«Милый Рафаэль, спасибо за заботу о маминых делах. «Другесть действие», — писала мама, и еще: «Любовь есть действие». Если это так (а это именно так, а не иначе), то друзей Марины Цветаевой можно сосчитать на пальцах одной руки. Да еще и лишние останутся (пальцы)»

Из письма А.С.Эфрон автору от 22 апреля 1967 г.

Может, это даже хорошо, что я приобщился к поэзии Цветаевой сравнительно поздно, уже в зрелые годы. До Цветаевой необходимо дорasti. Нужна внутренняя школа, определенный уровень поэтической культуры. Иначе ее стихи могут показаться слишком «усложненными», «зашифрованными». Но что правда, то правда: они не поддаются прочтению без нелегкого труда. И потому большинство просто откладывает книжку, чтобы затем никогда к ней не возвращаться. А жаль.

Но зато для тех, кто не пожалел времени и душевных усилий, открывается такая поэтическая мощь, такая глубина и обнаженность чувств, которые трудно передать словами. Помню свое первое впечатление от знакомства со стихами Цветаевой: состояние, близкое к шоку. Тогда я еще не знал точного и лаконичного определения Иосифа Бродского: «Более страстного голоса в русской поэзии не звучало». Но полюбил стихи Цветаевой именно за это: бьющую ключом обнаженную страсть.

Любовь же, в свою очередь, побуждает к действию, не позволяет оставаться пассивным потребителем стихов. Таким, собственно, был первый толчок, заставивший меня принять непосредственное и самое деятельное участие в выяснении обстоятельств последних дней и трагической гибели Марины Цветаевой, установления места ее могилы и сооружения надмогильного памятника.

Начал я с опроса татарских писателей, живших в Казани в годы войны (ныне большинства из них уже нет в живых).

Вот свидетельство Гази Кашшафа, татарского критика и литературоведа, бывшего в годы войны секретарем писательской партийной организации:

— Нет, с Цветаевой я не виделся, даже не слышал о ней до ЭТОГО. Узнал только после самоубийства. Не из газет — о таких вещах газеты тогда не писали. Просто мне, как секретарю парторганизации, позвонили из обкома — не помню уж кто, кажется, из отдела культуры — и сообщили, что такая-то писательница — эмигрантка повесилась в Елабуге. Тон был укоряющий: мол, не додглядели, допустили такое. Я, видимо, стал оправдываться — где мы, а где Елабуга, я ж ее и в глаза не видел — но меня слушать не стали. Строгим тоном дали РУКОВОДЯЩЕЕ УКАЗАНИЕ, ради чего, собственно, и был сделан звонок: сделайте, мол, соответствующие выводы. Чтобы этого больше не повторялось! Головой, мол, отвечаете. Я довел это указание до сведения тогдашнего председателя Союза Тухвата Имамутдинова, который, к моему удивлению, не только знал Цветаеву, но даже, как я понял, переписывался с ней.

В связи с этим Гази-ага не без юмора рассказывал о запомнившемся ему случае. Той же осенью одна эвакуированная писательница, кажется, из Польши, которую с десятками других семей временно поселили в красном уголке Дома печати в Казани (Дом этот превратился в то время в своего рода Ноев ковчег), в сердцах обронила, что если ей немедленно не подыщут жилье и работу, она бросится в пролет пятого этажа. Угрозу не то чтобы восприняли всерьез, но, напуганные полученной «накачкой», на всякий случай организовали круглосуточное дежурство у лестничной клетки. Гази-ага, по его словам, промаялся тут несколько ночей.

Итак, реакция партноменклатуры была совершенно определенной: не горечь, не боль от безвременной утраты, а прежде всего недовольство этой несанкционированной смертью, как бы бросающей тень на партийное руководство. Такое же отношение сохранилось и на протяжении последующих десятилетий. Даже когда стихи ее широко печатались, подробности гибели продолжали держаться в секрете, во всяком случае, считались нежелательными для режима. Так, уже в начале 80-х секретарь Татарского обкома М.Ф. Валеев собственноручно вычеркнул из моей уже набранной и подготовленной к печати книги «Образ времени» статью о последних днях Марины Цветаевой в Елабуге. Статья эта обошла и многие московские издания. Всюду ее жадно читали, порою снимали копии и... возвращали обратно.

Это лишний раз доказывает, что смерть эта была воспринята именно как ВЫЗОВ. Вызов системе.

Следующим на очереди, как легко можно догадаться, был Тухват Имамутдинов. Поскольку большинству читателей имя это ни о чем не говорит, сделаю маленькое отступление. Это был, пожалуй, единственный в истории нашей — а может, и не только нашей! — литературы руководитель творческой организации, в жизни своей не создавший ни одного литературного произведения. Журналист средней руки (даже по тем временам), изредка писавший трескучие передовицы к красным датам, он в середине 30-х был поставлен во главе комиссии обкома, проверявшей работу писательской организации. В результате этой «проверки» с прямым участием «органов» татарская писательская организация сократилась ровно наполовину. Но поскольку и вторая, оставшаяся, половина с ног до головы была вывала на в политическом дерьме, на ключевые посты в Союзе (руководитель писательской организации и главный редактор единственного в республике толстого литературного журнала) поставили «криスタльно честного и незапятнанного коммуниста с большим стажем и опытом партийно-воспитательной работы».

История ВКП(б) — не «Краткий курс», а действительная история — показывает, что подобные «чего изволите?», если и выигрывают, то ненадолго. Как только надобность в них отпадает, с ними не церемонятся. Так произошло и с Имамутдиновым. В конце 1942 года по прямому указанию «сверху» рассмотрели его персональное дело (утеря партийного документа, моральное разложение, еще что-то), исключили из партии, сняли со всех постов, но почему-то не арестовывали. Имамутдинов «просто» перебрался из председательского кресла в более подходящее для него место — шалаш сторожа на писательском огороде.

В начале 60-х Имамутдинов был на пенсии, жил замкнуто, никуда не ходил, видимо, избегая встреч с членами семей репрессированных писателей, к тому времени уже реабилитированных (в основном — посмертно). Мне не без труда удалось раздобыть его адрес.

Я ожидал увидеть дряхлого, немощного старца, и был немало удивлен, когда дверь мне, после долгих выяснений, кто я и зачем пожаловал, открыл довольно крепкий краснолицый мужчина с бычьей шеей и узенькими бегающими глазками под набрякшими веками.

— Цветаева? — переспросил он хмуро, не высказав ни удивления, ни особого интереса. — Это которая повесилась в Елабуге? Как же, помню, помню. Я многих писателей помню: Фадеева, Демьяна Бедного, Толстого. Встречался с ними вот как с вами, водку вместе пили. Нет, Цветаеву не видел, а письма от нее действительно получал. Одно из Устья (так называлась старая пристань на Волге), второе из Елабуги. Нет, письма не сохранились. Это ж не по личным вопросам. Они должны быть в архиве Союза писателей. Содержание? Столько лет прошло... В первом она, помнится, сообщала, что едет с сыном в Елабугу, в эвакуацию. Просила помочь с устройством на работу. Говорила, что хочет переводить татарских поэтов. А во втором писала, что доехала, сообщала новый адрес и снова напоминала о работе и переводах. Ну и жаловалась, конечно. Первое-то письмо было спокойнее, а второе — сразу чувствовалось, — писалось в отчаянном настроении.

— Вы ей ответили?

— Нет, не успел.

— А на что она жаловалась?

— Она же приехала в Елабугу прямо из Парижа. Как вы думаете, есть разница?

(Привожу этот диалог почти дословно по записи, сделанной в тот же день.)

Больше с Имамутдиновым я не виделся. Только краем уха слышал, что в конце 80-х он был еще жив. Но о себе он напом-

нил через несколько лет после нашей встречи. Я тогда выступил по Казанскому телевидению с рассказом о последних днях Цветаевой (каким-то чудом мне удалось пробиться на экран), а он выступил в более привычном для себя жанре доноса. В обкоме партии мне показали его «телеzugу» — какими только словами ни поносил он М. Цветаеву и ее «новоявленного пропагандиста». Пришлось писать объяснительную, хотя времена были уже не те и дальше этого, слава аллаху, дело не пошло. (Правда, позднее, когда стали открываться архивы КГБ, я часто встречал его фамилию в делах репрессированных писателей. Но это — особый разговор.)

Среди татарских писателей я встретил только одного, кто не просто слышал (слышали многие!), но и видел Цветаеву. Правда, не в Татарстане, а в Подмосковье, в Доме творчества Голицыно. Писатель Афзал Шамов, отдыхал в нем осенью 1939 года. Здесь в это время была и Марина Ивановна с сыном. Просто, даже бедно одетая («не скажешь, что из Парижа»), худощавая, среднего роста, с нервным и подвижным лицом, она произвела на него впечатление исключительной интеллигентности. Церемонно раскланивалась со всеми, знакомыми и незнакомыми, всегда держалась с каким-то особым, не афишируемым, а как бы врожденным чувством собственного достоинства. А перед ее эрудицией Афзал-ага, по его словам, просто терялся.

Голицынский Дом творчества довольно маленький, все сидели за одним большим круглым столом. Марина Ивановна редко принимала участие в общих разговорах. Но однажды, когда речь зашла о религии, вдруг горячо заговорила о потустороннем мире. Афзал-ага, по его словам, был удивлен, что такая образованная женщина, верит, как ему тогда казалось, в подобную чепуху.

Шамов тоже слышал о двух предсмертных письмах Цветаевой и посоветовал мне искать их в Госархиве республики, куда передавались дела Союза писателей.

### Последнее письмо

*«Большое спасибо за копию письма Имамутдинову; это — одно из последних маминых писем. Очень важно, что Вам удалось его обнаружить; теперь эта копия в Цветаевском архиве — благодаря Вам. Да, возможно — будь на месте Имамутдина другой человек, все обернулось бы иначе — проклятое «бы»! Такими «бы» вся жизнь моей матери вымощена — особенно последние месяцы, последние дни. Страшны были те времена, расплывчато называемые «периодом культа»; сейчас нам самим, все пережившим, ка-*

жется невероятным, что могло быть то, что было — да еще в двадцатом веке, да еще в гуманнейшей стране...»

Из письма А.С.Эфрон от 2 сент. 1964 г.

Пожелтевшая почтовая открытка (без рисунка), исписанная крупным, четким, по-мужски твердым почерком:

«Уважаемый товарищ Имамутдинов!

Вам пишет писательница-переводчица Марина Цветаева. Я эвакуировалась с эшелоном Литфонда в гор. Елабугу на Каме. У меня к вам есть письмо от и.о. директора Гослитиздата Чагина, в котором он просит принять деятельное участие в моем устройстве и использовать меня в качестве переводчика. Я не надеюсь на устройство в Елабуге, потому что кроме моей литературной профессии у меня нет никакой. У меня за этой же подписью есть письмо от Гослитиздата в Татиздат с той же просьбой.

На днях я приеду в Казань и передам Вам вышеуказанное письмо.

Очень и очень прошу Вас и через Вас Союз писателей сделать все возможное для моего устройства и работы в Казани. Со мной едет мой 16-летний сын. Надеюсь, что смогу быть очень полезной, как поэтическая переводчица.

Марина Цветаева<sup>1</sup>.

Даты под письмом нет, но почтовый штемпель свидетельствует, что письмо опущено в Казани 18 августа 1941 года (возможно — накануне). Обращает на себя внимание то, как скромно характеризует себя Цветаева — «писательница-переводчица». Ни слова об изданных книгах, многочисленных рецензиях, отзывах людей куда более именитых, чем «и. о. директора Гослитиздата Чагин». И какая потеря для татарской литературы, что в то время не смогли воспользоваться столь лестным предложением...

Письмо свидетельствует, что Цветаева не помышляла об уходе из жизни. Наоборот, собиралась работать, рассчитывала вскоре приехать в Казань и устроиться здесь переводчицей. Наивно рассчитывала, ибо существовала негласная инструкция, согласно которой право на прописку в Казани имели лишь немногие эвакуированные — по особому списку, присланному из Москвы. Среди писателей — буквально единицы, самые именитые, самые заслуженные. Основной массе пишущей бра-

<sup>1</sup> Государственный архив Республики Татарстан, ф. 7083, оп. 1. ед. хр. 131.

тии надлежало размещаться в Чистополе. А Цветаева, которая не была даже членом Союза (как позднее В.Высоцкий), имела право жить лишь в таких заштатных провинциальных городах, как Елабуга. Думаю, когда сия горькая истина ей открылась (в Елабуге или, скорее всего, в Чистополе), это не способствовало улучшению ее настроения и лишь подтолкнуло к роковому шагу.

Рекомендательные письма в бумагах Цветаевой, насколько мне известно, не обнаружены. Значит, она их выслала вместе с тем вторым письмом, о котором говорил Имамутдинов. Но письма этого, несмотря на все старания, мне так и не удалось обнаружить. Могу лишь высказать предположение, что его после самоубийства поэта затребовали «наверх» — в обком, КГБ или для пересылки в Москву, если в то тревожное время кому-либо вздумалось бы интересоваться ее судьбой. Видимо, его надо искать совсем в других местах. Опять же при условии, что письмо не уничтожили «за давностью» или как нежелательный, компрометирующий документ.

Затерялось и первое письмо на имя Имамутдина. Во всяком случае, когда через несколько лет я по просьбе Ариадны Сергеевны снова пришел в Госархив, чтобы снять фотокопию, письма на месте уже не было. Но тут я грешу не на партаппарат, а на слишком ретивых «поклонников» Цветаевой. Узнав из моей публикации в газете «Комсомолец Татарии» об этом письме, кто-то из них, возможно, решил прибрать к рукам столь дорогую (в буквальном и переносном смысле) реликвию. Не исключено, что эта открыточка еще вынырнет где-нибудь на мировом аукционе...

### **«Не думай, что здесь — могила...»**

*«Вы спрашиваете меня, не хотела бы я приехать в Елабугу? О нет, я этого не хочу. У меня просто ужас перед Елабугой, насколько меня тянет к тем местам, где мама жила, настолько сильно мое оттолкновение от места, где она погибла жертвой несказанного человеческого равнодушия, жестокости, трусости. Короче, сама Елабуга тут ни при чем, равнодушие, жестокость и трусость преследовали маму давно, и лишь в Елабуге добили ее, как могли бы добить в любом другом месте, но тем не менее, именно этот городок на Каме был местом ее смерти, с которой я никогда не смогу свыкнуться и смириться. Конечно, будь бы могила, тот уголок, который оставшиеся в живых могут украшать, над которым могут плакать — я бы приехала и приезжала; но там ведь только кладбище, где она затерялась; не только «душу живу», но и прах ее не смогли*

*сохранить люди. Что люди, когда и мне самой не было этого дано судьбой — тем самым Роком!»*

*Из письма А.С.Эфрон от 2 сент. 1964 г.*

В 1960 году сестра поэта Анастасия Ивановна Цветаева приехала в Елабугу, разыскала жену кладбищенского сторожа (самого сторожа к тому времени уже не было в живых), и та указала ей примерное место, где хоронили умерших в 1941 году, и тот ряд, где, хоть и с трудом, можно было еще разобрать цепочку запущенных, неухоженных могил эвакуированных, не местных. Цветаеву, как самоубийцу, похоронили скорее всего ближе к ограде, в стороне от основной массы захоронений. (До революции таких хоронили вообще за оградой кладбища.) Именно тут Анастасия Ивановна и установила простенький крест, сваренный из водопроводных труб (и, как поговаривали местные жители, снятый сторожихой с чьей-то «бесхозной» могилы).

В 1970 году на том же месте по инициативе Союза писателей Татарии с участием Министерства культуры ТАССР и Литфонда СССР был воздвигнут надмогильный камень, стоящий до сих пор.

Поскольку споры о месте захоронения Марины Цветаевой не утихают, больше того, время от времени вспыхивают с новой силой, хочу высказаться по этому поводу. Как человек, работавший в те годы (1963—1964) ответственным секретарем Союза писателей Татарии и принимавший непосредственное участие в возбуждении ходатайства, составлении смет, утверждении проектов и т.д.; заявляю, что всем нам с самого начала было ясно, что место выбрано произвольно и праха Марины Цветаевой под крестом, скорее всего, нет. Об этом прямо говорила и надпись на кресте, принадлежащая Анастасии Ивановне: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». «В этой стороне» — не более того.

---

Идешь, на меня похожий,  
Глаза опуская вниз.  
Я тоже была, прохожий,  
Прохожий, остановись...

«Была» — вот факт, поистине достойный немого и восхищенного удивления. Марина Цветаева в одной из своих статей писала о Блоке: «Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Весь он — такое явное торжество духа, такой — воочию — дух, что удивительно, как жизнь — вообще — допустила».

Эти слова в той же мере можно отнести и к ней самой.